

ДЕРЕВНЯ И КРЕСТЬЯНИН В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЛИТЕРАТУРЕ И КИНО XX в.

1. ПРОЛОГ. «... ПРОСТОЙ НАРОД ПРОЩАТЬСЯ ПРИШЕЛ...» (Судьбы крестьянства и деревни в лите- ратуре конца XIX – начала XX вв.)

Помните пьяную радость Ермолая Лопухина, внука и сына крепостного, ту его радость, которая тут же оборачивается тяжелой в своей неизъяснимости тоской, когда хозяин нового типа объявляет о покупке вишневого сада?

«Я купил... - кричит он хохоча. – Вишневый сад теперь мой! Мой! Боже мой, Господи, вишневый сад мой! Скажите мне, что я пьян, не в своем уме, что все это мне представляется...»

Наверное, эти крики должны вызвать в окружающих некоторую оторопь, а потом и нервный смех. Потрясенный происшедшим мужик в ответ комически грозно «топочет ногами» и продолжает орать: «Не смейтесь надо мной! Если бы отец мой и дед встали из гробов и посмотрели на все происшествие, как их Ермолай, битый, малограмотный Ермолай, который зимой босиком бегал, как этот самый Ермолай купил имение, прекрасней которого ничего нет на свете. Я купил имение, где дед и отец были рабами, где их не пускали даже в кухню. Я сплю, это только мерещится мне, это только кажется...».

Вновь и вновь прислушиваешься к этому монологу... Что в нем? Мстительное наслаждение победой, наслаждение хама, в котором слышна и угроза, страстное желание расправиться с «имением, прекрасней которого ничего нет на свете». Расправиться именно потому, что оно, такое прекрасное, всечасно унижало его в его убожестве как раз своей «прекрасностью», и эта боль унижения засела в подкорке недавнего крепостного - от дедов и прадедов. Но как бы там ни было, бывший крестьянин Лопухин все же чувствует высоту этой, ему недоступной красоты, за которой вековой опыт дворянской культуры, чему не найти эквивалента в денежном выражении и нельзя присвоить в процессе купли-продажи, а можно только разрушить физически...

Так в следующую часть его монолога прорывается та самая необъяснимая тоска, печаль от интуитивного прозрения дальних последствий «происшествия»: в руках Истории он не только становится палачом и могильщиком усадебной дворянской

культуры, воплощенной в «энциклопедическом» вишневом саде, но и одновременно погрებაет себя как крестьянина, погрებაет деревню, неразрывно связанную своей судьбой с судьбой усадьбы. Трагическую безысходность происходящему придает то, что Лопехин, в просветленности сознания своего, ничего не хочет на самом деле разрушать. Он всей душой стремится в мир Раневской, одухотворенный почти уже бесплотным вишневым садом, стремится, кажется, чтобы напитаться этой одухотворенностью. Но и остро чувствует в то же время, что *туда* для него дороги нет, *в ту сторону* для него дорога заказана, а предуготовлены ему иные дороги, с очевидностью открывшиеся нам сегодня.

Вишневый сад для растущего в ситуации новых исторических вызовов Лопехина – привидение прошлого. Обращаясь к опыту русской классики, так или иначе воссоздающей усадебно-деревенский образ жизни, можно легко увидеть, что к тому моменту, когда пьяный Лопехин произносит свой погрებაльный монолог, то есть в самом конце XIX – начале XX вв, и усадьба, и деревня, действительно, готовятся к исходу в мир иной. Не кривя душой, совершенно смело можно утверждать, что если не с радищевского «Путешествия...», то уж с пушкинской «Истории села Горюхина» наверняка образ деревни в русской классической словесности (да и усадьбы в том числе) – это образ мира убогого, вымирающего, никак не намекающего на иные, возрожденческие формы. Исключить из этого «списка» можно разве только, именно в силу их эксклюзивности, утопические картины хозяйства Костанжогло из второй части гоголевских «Мертвых душ» и описание деятельности его литературного родственника Константина Лёвина в «Анне Карениной» Л. Н. Толстого, вместе со здоровой жизнью крестьянского мира, возникающей там же. Вернемся к чеховскому объективизму и в его драме, и в его прозе...

Мир усадьбы в «Вишневом саде» явственно подвержен тлению. Сад здесь (по определению, культурно организованное, гармонизированное пространство жизни) все более утрачивает память о человеческой заботе, упорядочивающей его внутренний мир. Сад дичает. В нем поселяются тени дворянских предков. И сам в *майском* заморозке сумеречного утра выглядит привидением. Не случайно в этом пространстве мы уже не видим крестьян. Они остаются за сценой – «народ прощаться прошел», оповещает хам новой формации Яша. Это – погрებაльная процессия, готовая и сама пасть в ту пропасть, куда влечется имение Раневских-Гаевых. «Воля», о которой с ужасом как о явлении Антихриста говорит Фирс, на страницах русской классики видится совершенно

конкретной границей, перейдя которую, усадебно-деревенский мир обрывается на распад.

В рассказе А. Чехова «Новая дача» (1889) эти две составляющие (усадебная и деревенская) предполагаемого в каком-то прошлом целого враждебно противостоят друг другу как миры взаимоотрицающие. На страницах рассказа складывается атмосфера предчувствия той панихиды, которая станет преобладающей в сюжете «Вишневого сада» (1904). Инженер Кучеров, строящий мост в трех верстах от деревни Обручановой, недалеко имеет свою усадьбу, прозванную Новая дача. Он уж никак не похож на Гаева или Раневскую – инженер занят делом, причем, делом современным и, кажется, полезным. Но уже в самом прозвании его усадьбы заметен намек на некую неустойчивость, временность не только самой этой усадьбы, но и всей той жизни, которая показана в рассказе.

Крестьяне недовольны строительством моста и всячески вредят семейству инженера – наш крестьянин в русской классике весьма склонен к таким забавам: во что бы то ни стало, пусть и в ущерб себе, но насолить «барину». Кучеров увещевает местного кузница Родиона, как наиболее, среди прочих, вменяемого человека: «Мы относимся к вам по-человечески, платите и вы нам тою же монетою...» Удивительно, но *этот*, кажется, вполне внятный русский язык, которым пользуется у Чехова герой-интеллигент, темен для Родиона не менее чужого, иноземного. Вот как перетолковываются слова инженера в разговоре кузнеца с односельчанами: «Платить, говорит, надо... Монетой, говорит... Монетой не монетой, а уж по гривеннику со двора надо бы. Уж очень обижаем барина. Жалко мне...»

По всему видно, Родион «барину», как и Ермолай Раневской, сочувствует, жалеет инженера, но фатально его не понимает. Может быть, в этой катастрофической некоммуникабельности двух представителей одной нации откликается вековой опыт «общения» крестьянина и господина-помещика, отраженный в той же отечественной словесности? Как бы там ни было, но инженер, доведенный до отчаяния пакостями, ему учиняемыми, заявляет: «Я и жена относились к вам, как к людям, как к равным, а вы? Э, да что говорить! Кончится, вероятно, тем, что мы будем вас *презирать* (выделено мною. – В.Ф.)...» И, конечно, в передаче кузнеца слова инженера обретают прямо противоположный, как и в первом случае, смысл: «А потом глядит на меня и говорит: я, говорит, с женой тебя *призирать* буду. Хотел я ему в ноги поклониться, да сробел...».

Речевое поведение крестьянина напоминает традиционно-

смеховую практику ярмарочных дедов, их игру с иноязычными словами, когда и форма и смысл понятия выворачиваются наизнанку и так высмеиваются, подвергаются снижению как образ *чужого и чуждого*. В роли такого «ярмарочного деда», балагура выступает, по видимости, серьезный крестьянин Родион. Но это невольное балагурство, этот непредумышленный карнавал как раз и есть выражение устойчивого отношения крестьянского мира, мира деревни к миру усадебному, когда первый по определению отвергает второй, карнавализует его как утратившего реальный, действительный смысл существования.

Смеховое снижение «высокого» героя «низовой», крестьянской средой то и дело встречается в русской классике (вспомним, например, беседу Евг. Базарова с крестьянами в имении его отца), акцентируя дистанцию, которую между собой и «барами» устанавливает сам «народ». Но и демонстрация доброжелательства со стороны того же инженера Кучерова (или, позднее, со стороны инженера Гарина в его очерках «Несколько лет в деревне») по отношению к крестьянам, которые «тоже люди», имеет смеховой подтекст, у Чехова, по крайней мере, поскольку не выглядит органичным для «барина». Может быть, и поэтому еще крестьяне так настороженно ведут себя в пространстве деятельности инженера?

В любом случае, противостояние этих двух начал – усадьбы и деревни – разрушительно действует на каждое из них. Именно такое направление получает сюжет «Новой дачи». В усадьбу Кучеровых во время храмового праздника являются пьяные крестьяне отец и сын Лычковы – с жалобами друг на друга. Инженер отказывается разбирать их спор и отправляет к становому. Тогда Лычков-отец, продолжая рыдать и жаловаться, поднимает палку и ударяет ею сына по голове. В ответ тоже получает удар по лысине, так что палка, как это бывает на цирковой арене, подскакивает. «Лычков-отец даже не покачнулся и опять ударил сына, и опять по голове. И так стояли и все стучали друг друга по головам, и это было похоже не на драку, а скорее на какую-то игру...». Дикая клоунада Лычковых, то ли умышленно ими разыгранная, то ли являющаяся плодом пьяной импровизации, разворачивается в открытой публичности – на глазах у односельчан, пришедших поздравлять семью Кучеровых с праздником. Похоже, большинство из них не одобряют происходящих перед ними пьяных забав, но они, по укоренившейся привычке, молчат – в логике формулы, выведенной еще Пушкиным в «Борисе Годунове». Молчат, со всей серьезностью наблюдая клоунаду Лычковых.

В конце концов, семья инженера продает усадьбу и покидает, оскорбленная и обиженная, эти места. А крестьяне остаются в наивном размышлении над тем, почему они, «народ хороший, смирный, разумный», богобоязненный, не ужились, например, и с супругой инженера, «тоже смирной, доброй, кроткой» женщиной, и расстались с Кучеровыми как враги. Разноязычность миросознаний дворян (вообще образованного слоя нации, так сказать, «господ») и крестьян, как уже было отмечено выше, один из механизмов сюжета, где взаимодействуют эти социальные слои. Как правило, между ними или нет взаимопонимания или оно весьма трудно возникает, с большими, можно сказать, жертвами. Причем, авторская позиция русской классики, в большинстве случаев, такова, что симпатии писателя остаются на стороне «страдающего народа», как, например, у Л.Н. Толстого в его «Анне Карениной» или у Н.Гарина-Михайловского в его примечательной хронике об экономических нововведениях в деревне. Самые дикие выходки крестьян здесь оправдываются их особым миропониманием, которое крайне необходимо постичь интеллигентному «господину», если он хочет наладить в имении «правильное» хозяйство. Пути постижения, к сожалению, как правило, остаются непроясненными, и очередной «барин» покидает «поле боя» не солоно хлебавши, а иногда и с большими потерями.

Чехов гораздо более жестко оценивает поведение не только «барина», но и «страдающего народа», закосневающего в своем невежестве, социальной ограниченности. Не случайно всякий раз как только крестьянин у Чехова вступает в контакт с государственным чиновником, например (см. «Злоумышленник»), или с иным прочим представителем образованного слоя, пространство этого «диалога» чудовищно деформируется, превращаясь в настоящий «театр абсурда». Мирощущение крестьянина здесь, как и его образ жизни, помечено зверовой дикостью, беспросветной дремучестью, от которых не спасают ни «мир», ни религия. Это почти животное существование, без перспективы саморазвития. Интересно, что единый крестьянский мир у Чехова, община, так сказать, - абсолютный миф. Жизнь деревни внутри себя в значительной степени атомизирована, крестьянин отделен от своего собрата по классу не менее, чем от «барина». Не может быть основой существования и религия, поскольку крестьянская религиозность здесь чаще всего механическое исполнение обряда.

Вспомним сюжет чеховской повести «Мужики» (1897). Неизлечимо захворавший лакей московской гостиницы «Славянский

базар» Николай Чикильдеев едет в родное село Жуково помирать. Едет вместе с супругой Ольгой и маленькой дочерью. Он давно откололся от крестьянской жизни. И как не была унизительна роль лакея, оказавшись в родной семье, Николай страдает не столько от болезни, сколько от атмосферы глухой ненависти, злобы и убожества, царящей в жизни его деревенской родни. И теперь о существовании своем в Москве он вспоминает как о райских куцах.

Фигура крестьянина, оторвавшегося от почвы, каким является в повести Чикильдеев, во-первых, показатель распада общинного монолита крестьянского существования, а во-вторых, и это подтверждает первое соображение, такая фигура давно уже (по отношению ко времени Чехова) общее место в русской классической словесности. И здесь дело даже не в том, что классический литературный сюжет демонстрирует физическое передвижение крестьянина, а в том, что феномен странничества есть выражение распада, превращения деревни изнутри. Ведь то же, внешне оседлое семейство Чикильдеевых вовсе не так уж прочно связано со своей почвой и совсем не сцементировано в себе, а напротив – расшатано враждой. Поэтому не от мира сего явившаяся в семейство крестьян Ольга, супруга Николая, воспринимается своеобразным «лучом света в темном царстве» распадающегося, уходящего крестьянского Дома. Именно она, городская женщина, а не крестьяне всем сердцем воспринимает и переживает святые книги.

Наблюдая жизнь крестьянской семьи сквозь мировосприятие Ольги, Чехов, признанный «объективист» в изображении реальной действительности, переходит к финалу к открытой публицистике от автора, как бы забывая о точке зрения героини. « В течение лета и зимы бывали такие часы и дни, когда казалось, что эти люди живут хуже скотов, жить с ними было страшно; они грубы, нечестны, грязны, нетрезвы, живут не согласно, постоянно ссорятся, потому что не уважают, боятся и подозревают друг друга. Кто держит кабак и спаивает народ? Мужик. Кто растрчивает и пропивает мирские, школьные, церковные деньги? Мужик. Кто украл у соседа, поджег, ложно показал на суде за бутылку водки? Кто в земских и других собраниях первый ратует против мужиков? Мужик. Да, жить с ними было страшно, но все же они люди, они страдают и плачут как люди, и в жизни их нет ничего такого, чему нельзя было бы найти оправдания. Тяжкий труд, от которого по ночам болит все тело, жестокие зимы, скудные урожаи, теснота, а помощи нет и неоткуда ждать ее. Те, которые богаче и сильнее их, помочь не могут, так как сами грубы, нечестны, нетрезвы и сами бранятся также отвратительно; самый мелкий чиновник или приказчик обходится

с мужиками как с бродягами, и даже старшинам и церковным старостам говорит «ты» и думает, что имеет на это право. Да и может ли быть какая-нибудь помощь и добрый пример от людей корыстолюбивых, жадных, развратных, ленивых, которые наезжают в деревню только затем, чтобы оскорбить, обобрать, напугать?..»

Образ крестьянского мира, каким он возникает в прозе Чехова, - образ, в каком-то смысле, итоговый для русской классики XIX в. И итог этот малоутилителен, в мире, так устроенном, нет потенциалов для саморазвития. Он – на грани самоуничтожения. Не зря Ольга, покидая деревню, оглядывается на избы ее, как на кладбищенские могилы. Деревня у Чехова - погост вымирающего крестьянства, а вместе с ним и тех надежд, которые возлагала на него прогрессивная интеллигенция XIX, в том числе и крупнейшие писатели, вроде Достоевского или Толстого.

Кажется, еще не так давно совсем иным, нежели Чехову, виделся народолюбцу Константину Лёвину тот же самый крестьянин - в романе «Анна Каренина», опубликованном в 1876-77 гг. На фоне «Мужиков» или, допустим, «Пошехонской старины» (1887-1889) Н.Щедрина и сама фигура Лёвина выглядит, скорее, утопической, нежели реальной – и как хозяина-землевладельца, и как теоретика организации земледельческого труда. Хотя, на первый взгляд, ничего утопического нет в той концепции построения сельского хозяйства, где «характер рабочего» должен приниматься за «абсолютное данное, как климат и почва, и чтобы, следовательно, все положения науки о хозяйстве выводились не из одних данных почвы и климата, но из данных почвы, климата и неизменного характера рабочего»¹. Другое дело, что тезис этот фатальным образом не находит воплощения в хозяйственной практике Лёвина, как ни старается он, самым честным и последовательным образом, привести в исполнение задуманное.

Та часть романа, в которой развивается сюжетная линия Лёвина, и есть, по сути, постижение через него действительного «характера рабочего», то есть крестьянина, и способов включения этого «характера» в рациональную хозяйственную деятельность. Что же мешает осуществлению надежд и замыслов прогрессивного помещика? В самом истоке своей положительной деятельности Лёвин наткнулся на то, что повторялось в хозяйстве из года в год: на вечное «неряшество» хозяйства, не поддающегося никаким рациональным усовершенствованиям, а напротив – стихийно и яростно этим усовершенствованиям противящегося. Собственно, эта стихия

¹ Толстой Л.Н. Собр. соч., т. У111, с. 180, 181.

сопротивления «барину» и обозначилась в концепции Левина как «характер рабочего».

Но Константин Лёвин не чеховский инженер Кучеров – он, по мысли своего создателя, на самом деле близок крестьянину как раз в истоках своего мирознания. В деревне Лёвин – у себя дома. При этом он чувствует «несправедливость своего избытка в сравнении с бедностью народа» и намерен «еще больше работать и еще меньше... позволять себе роскоши»². «Барин»-то другой, но крестьяне, кажется, все те же, несмотря на иной ракурс взгляда помещика. Они последовательно и упорно сопротивляются его экономическим проектам. Даже при наличии превосходного урожая «никогда не было или по крайней мере никогда ему не казалось, чтобы было столько неудач и столько враждебных отношений между им и мужиками». Всякий раз он убеждался в практике каждодневного существования, что «хозяйство, которое он вел, была только жестокая и упорная борьба между им и работниками, в которой на одной стороне, на его стороне, было постоянное напряженное стремление переделать все на считае́мый лучшим образец, на другой стороне, - естественный порядок вещей...»³

Заметим, что в стихийной враждебности крестьян к его нововведениям Лёвин (а точнее, его создатель) видит «естественный порядок вещей». А свою деятельность, едва ли не а priori, готов трактовать как искусственное вмешательство в эту природную логику. И действительно, при всем неприятии лёвинских экспериментов крестьяне собственно «барину», кажется, и не желают зла. Напротив, его любят, считают «простым барином», что в устах мужиков звучит наивысшей похвалой. Но только начинается работа – любовь кончается, поскольку не совпадают интересы сторон. Лёвин борется за каждый грош, поскольку из этих же денег нужно расплачиваться с крестьянами. А они стоят только за то, по выражению Толстого, чтобы «работать спокойно и приятно, то есть, как они привыкли»⁴. Откровенно говоря, по прошествии всего лишь полутора десятилетий после объявления «воли», после недавнего крепостного труда, многожды описанного в русской классике, трудно понять, каким путем у толстовских крестьян сформировалась привычка «приятно и беззаботно» работать. Но именно таким хочет видеть трудовой ритм существования своих крестьян Л.Н. Толстой, именно этому ритму так охотно поддается на покосе и его любимый герой помещик Лёвин. Если в интересах барина было, чтобы каждый работник сделал как можно больше,

² Там же, с. 113.

³ Там же, с.377, 379

⁴ Там же, с.378.

чтобы не повредил инструмента, чтобы обдумывал дело, продолжает Толстой, то крестьянину «хотелось работать как можно приятнее, с отдыхом, а главное – беззаботно и забывшись, не размышляя»⁵. И еще, и еще раз повторит русский писатель-проповедник, что вредил его герою крестьянин только из той простой и невинной причины, что мужикам «хотелось весело и беззаботно работать, и интересы его были им не только чужды и непонятны, но фатально противоположны их самым справедливым интересам...»⁶

С точки зрения Толстого, крестьянский труд, его ритм и его смысл, теснейшим образом связан с внутренней жизнью природы, и трудовой жест крестьянина есть лишь продолжение «жеста» природы, неторопливого и изнутри обеспеченного некой высшей силой. Вероятно, приговоренность к *такому* труду и формирует те интересы крестьян, которые писатель называет «справедливыми». На их фоне усилия «барина», исключительно сориентированные на ритм социальной жизни, конечно же, должны видаться искусственными, неприродными, а значит, чуждыми «природности» интересов крестьян. Толстой на какое-то время будто забывает, что хозяйственно-экономическая родословная крестьянина – это родословная крепостная, в рамках которой формировалась и другая привычка – привычка упорно противостоять «господину» как исконному своему врагу, нацеленному только на свою, но не на крестьянскую выгоду.

К этой реальности обращает Лёвина своеобразный его оппонент – убежденный крепостник, аргументы которого звучат убедительно, хотя и весьма мрачно. При крепостном праве, напоминает «оппонент», всякое новшество в сельском хозяйстве вводилось властью помещика. Мужик сопротивлялся, а потом и подражал помещику. Когда же у помещиков власть отняли, то хозяйство, которое было поднято на высокий уровень, должно было опуститься к «самому дикому первобытному состоянию». Крестьяне, жалуется «страстный сельский хозяин», «не хотят работать хорошо и хорошими орудиями. рабочий наш только одно знает – напиться, как свинья, пьяный и испортит все, что вы ему дадите. Лошадей опоят, сбрую хорошую оборвет, колесо шинованное сменит, пропьет, в молотилку шкворень пустит, чтобы ее сломать. Ему тошно видеть все, что не по его. От этого и спустился уровень хозяйства. Земли заброшены, заросли полынями или розданы мужикам... общее богатство уменьшилось...»⁷

Лёвин спорит, пытается конкретизировать свою концепцию

⁵ Там же.

⁶ Там же.

⁷ Там же, с. 390.

восстановления сельского хозяйства в России. «Ваше и наше общее недовольство хозяйством доказывает, что виноваты мы или рабочие. мы давно уже ломим по-своему, по-европейски, не спрашиваясь о свойстве рабочей силы. Попробуем признать рабочую силу не идеальной рабочей силой, а русским мужиком с его инстинктами и будем устраивать сообразно с этим хозяйство. Представьте себе..., что... вы нашли средство заинтересовать рабочих в успехе работы и нашли ту середину в усовершенствованиях, которую они признают, - и вы, не истощая почвы, получите вдвое, втрое против прежнего. Разделите пополам, отдайте половину рабочей силе; та разность, которая вам останется, будет больше, и рабочей силе достанется больше». Но (опять-таки!) для того, чтобы все это состоялось, «надо спустить уровень хозяйства», то есть начать как бы с нуля, с тех самых «справедливых интересов» крестьянина и , постепенно продвигаясь, заинтересовать рабочих в успехе хозяйства. И как раз в тот момент, когда читатель вместе с собеседником Лёвина ожидает услышать *подробный* план достижения задуманного, любимый герой Толстого роняет: «Как это делать – это вопрос подробностей, но несомненно, что это возможно». Остается ощущение топтания на каком-то «заколдованном месте», связанном с представлением о таинственном характере русского крестьянина, которого двумя десятилетиями ранее Евгений Базаров в беседе со своим оппонентом аристократом Павлом Петровичем Кирсановым, в свою очередь, назвал «таинственным незнакомцем».

В реальной практике хозяйствования – и этого не может скрыть великий правдолюбец Лев Толстой – его герой увязает именно в «подробностях», именно они ежечасно требуют прояснения. Ощущение полного тупика становится все сильнее. Константин Лёвин утрачивает всякий интерес к хозяйству и делает свое дело только из чувства сословной «обязанности к земле». Просветление в душе помещика наступает только тогда, когда он сливается в трудовом жесте и с крестьянином, и с природой, а затем, как бы подвигнутый этим процессом, вступает в область мистических открытий.

То обстоятельство, что к своим мистическим откровениям Лёвин окончательно приходит во время уборки урожая, есть, по-видимому, своеобразное художественное преодоление утопией непреодолимой реальной практики жизни деревни и усадьбы, в их фатальном противостоянии друг другу и во внутренней дисгармонии каждого из начал. Уборка урожая здесь – символ, мистерия воссоединения человека и природы, где нет сословной дифференциации, как нет и дифференциации индивидуально-

личностной. Чувство единства, соборности, которое в эти минуты переживает Лёвин, рифмуется в творчестве Толстого с состоянием, переживаемым ранее Петром Безуховым, когда в канун Бородинского сражения, в самом сражении и после него герой «Войны и мира» нутром переживает неизбежность и необходимость сопрягать себя с народом, а значит, и с мирозданием.

Так же, как в «Войне и мире» Безухова, в «Анне Карениной» героя подталкивает к просветлению «человек из народа», крестьянин Федор. Из беседы с ним по какому-то конкретному делу Лёвин узнает, что «люди разные; один человек только для нужды свой живет», «только брюхо набивает», а есть и такие, которые «для души живут», «Бога помнят». Эти слова буквально пронзают душу помещика: оказывается, немудреная суть бытия состоит в том, чтобы «по правде, по-Божьи» жить. Как только Лёвин это услышал, неясные, но значительные мысли «толпою как будто вырвались откуда-то из-заперти и, все стремясь к одной цели, закружились в его голове, ослепляя его своим светом»⁸. Для постижения простой формулы крестьянина Федора не нужно было напряжения ума, поскольку «весь мир одно это вполне понимает и в одном этом не сомневаются и всегда согласны все». Это всеобщее интуитивное знание не нуждается в рациональном объяснении, поскольку дается вне разума, не имеет никаких причин и не может иметь последствий. «Если добро имеет причину, оно уже не добро; если оно имеет последствие – награду, оно тоже не добро. Стало быть, добро вне цепи причин и последствий».⁹ Не разум, а душа должна открыться этому почвенному знанию. Таково откровение Лёвина, заключающее роман « Анна Каренина», а вместе с ним и сюжет его духовных и, как мы помним, хозяйственных поисков. Как аукнется это открытие в помещичьей жизни толстовского героя, а следовательно - в его взаимоотношениях с крестьянами и деревней, остается лишь гадать.

Оказываясь в этом своеобразном сюжетном тупике классического романа, начинаешь вдруг соображать, что и крестьянская масса здесь существует вовсе не для того, чтобы мы вместе с автором смогли постичь, в ходе художественного исследования, противоречия ее повседневной хозяйственной (и всякой другой) жизни. Народ у Толстого (или рабочий с его «справедливыми интересами») – стихийно информативный канал, по которому в душу «высокого» героя поступает соответствующее откровение, чтобы так состоялась мистическая связь с бесконечностью мироздания и его высшим разумом.

⁸ Там же, с.419.

⁹ Там же, с. 420.

1

Поэтому, вероятно, и народ остается у Толстого все той же слабо дифференцированной, монолитно неподвижной массой, как в «Войне и мире», индивидуально обозначенной лишь символическими фигурами, вроде Платона Каратаева или Тихона Щербатого. Но даже там, где крестьянин у Толстого все же индивидуально конкретизируется в качестве, так сказать, частного лица – как в «Поликушке», например, и во «Власти тьмы» – даже там эта конкретизация подавляется общим принципом: показать простого человека в качестве безусловного бессознательного нравственного критерия бытия. Это обстоятельство не является достоинством или недостатком толстовского творчества – будь то его проза или его же драма, а входит в определение существа этого творчества. И только. Поэтому Толстому не интересны ни те подробности повседневного труда крестьянина, которые в произведениях других писателей XIX в. вовсе не выглядят слиянием мужика с мирозданием, ни те обобщения, к которым приходит, как мы видели, А. П. Чехов или М. Е. Салтыков-Щедрин.

Русский сатирик, постигая существо крестьянского труда, не склонен вставать на путь поиска мистических откровений. Хотя в его сказке о мужике, который кормил на необитаемом острове генералов, крестьянин трудится играючи, любо дорого смотреть. Картина его трудовых подвигов не менее привлекательна в своем праздничном подъеме, чем эпизод косьбы в «Анне Карениной». Но штука-то вся в том, что это – труд подневольный, завершающийся изготовлением веревочки, которой генералы ограничат мужицкую свободу. А там, где сатирик уже совершенно трезво смотрит на имманентную суть крестьянского труда и крестьянского же к этому труду отношения, там он создает сатирическую сказку-притчу «Коняга»(1885).

«Худо Конягино житье. Хорошо еще, что мужик попался добрый и даром его не калечит. Выедут оба с сохой в поле: ну, милый, упираться! – услышит Коняга знакомый окрик и понимает. Всем своим жалким остовом вытянется, передними ногами упирается, задними – забирает, морду к груди пригнет. Ну, каторжный, вывези! А за сохой сам мужичок грудью напирает, руками, словно клещами, в соху впился, ногами в комьях земли грузнет, глазами следит, как бы соха не слукавила, огреха бы не дала. Пройдут борозду из конца в конец – и оба дрожат: вот она, смерть, пришла! Обоим смерть – и Коняге, и мужику; каждый день смерть»¹⁰ Как видим, у Щедрина, как и у Толстого, крестьянин слит с природным телом – отсюда, вероятно, и образ своеобразного

¹⁰ Щедрин Н. (М.Е. Салтыков). Полн. собр. соч. Под ред. В. Я. Кирпотина и др., т. ХУ1. М.: Художеств. литература, 1937, с. 198.

кентавра, человеко-лошади, неразделимого единства Коняги и мужика. Но щедринский Сказочник переживает это единство как трагедию для обеих мучительно слитых начал. И Коняга и мужик впаяны друг в друга отнюдь не веселым и далеко не приятным, лишенным какого-либо удовлетворения и гармонии трудом. Образ этого бесконечного, равного смерти труда воплощен в бесконечности предлежащего освоению пространства, заполнившего всю даль и ширь их существования. Поля «железным кольцом охватили деревню, и нет у нее никуда выхода, кроме как в эту зияющую бездну полей». Кажется, человек «освободиться не может от одолевающего пространства полей». Невыполнимая, на самом деле, задача эта выпала на долю двум существам: мужику да Коняге. «И оба от рождения до могилы над этой задачей бьются, пот проливают кровавый, а поле и поднесь своей сказочной силы не выдало – той силы, которая разрешила бы узы мужику, а Коняге исцелила бы наболевшие плечи»¹¹.

Однако ж, разрешение от уз пространства русских полей и исцеление от тяжести востребованной ими бесконечной работы означало бы невозвратное превращение и крестьянина, и деревни, что, собственно, и регистрирует наша словесность к концу XIX века все отчетливее, когда изображает крестьянина, оторвавшегося от почвы и двинувшегося в пространства иных постижений. Причем, это, как правило, не просто крестьянин, точнее говоря, не просто бывший крестьянин, а человек, на глазах обретающий черты конкретной индивидуальности, чего он был еще лишен даже у таких могучих художников, как Толстой. И что примечательно, эта лично все более проступающая в сюжете отечественной литературы индивидуальность крестьянина появляется чаще и откровенней у писателей народнического направления. То есть там, где художник, даже при небольшом таланте, опираясь на очерковую документальность изображения действительности, просто принужден был *фактически портретировать* жизнь деревни. Вольно или невольно он собирал и те подробности этой жизни, которые еще совсем недавно не попадали в поле зрения литераторов и которые теперь формировали ее образ, если и не поднимающийся до тех высот обобщения, на которые были способны Толстой или Щедрин, то все же привлекающие своей нечаянной правдой.

Такой, то есть в значительно степени подробно прокомментированной предстает жизнь деревни в «крестьянской» прозе Глеба Успенского. Может быть потому, что Г.Успенского в большей мере интересует деревня, затронутая процессами

¹¹ Там же.

капитализации, она уже в его первых крестьянских очерках дана в динамике, в процессе существенных превращений, чего нельзя было видеть в русской классической словесности вплоть до 1870-х годов, хотя и процесс распада деревни, и странническое сиротство крестьянина уже было видно.

В очерке Г. Успенского «Книжка чеков. (Эпизод из жизни недоимщиков)» (1876) из цикла «Новые времена, новые заботы» возникает образ деревни Распоясово. Без особого напряжения воображения можно увидеть, что за этим образом, как и в случае с селом Горюхиным или городом Глуповым, стоит художественно превращенная Россия, во всяком случае, крестьянская Россия. Причем в начальной позиции своего сюжетного движения эта деревня как бы прорастает из патриархальной заповедности, из глуши и тишины природной, в которых привольно живет и зверю и птице. Появляется здесь и фигура «барина», изредка наезжающего в свои владения (к богатствам которых он вполне равнодушен), чтобы поразвлечься охотой. И сами крестьяне не знали, что делать со всем этим природным изобилием. Так и прозябали тощие деревеньки с тощим скотом и тощим человеком среди естественных богатств. Правда, «нищий человек» уже носил кличку «вора» и «неплательщика». Заключает эту часть характеристики распоясовцев Г. Успенский фразой, какую можно было бы прочесть и у Андрея Платонова: «Барин скучал, страдал меланхолией, мужик бедствовал и тоже терял аппетит жить на белом свете».

Образ нищего полусонного царства, готового в сию минуту переправиться в мир иной, при всем обилии природных даров, обретает новые черты в ситуации пореформенной. В распоясовцах начинает прорастать чувство, вообще говоря, мало свойственное литературному крестьянину в словесности XIX в., - чувство собственности. «... как только какой-то кусок леса или поля стал чужим, барин сообразил, что все это – «мое», и как только увидел это же самое мужик, то и он тоже сообразил, что ведь это – «наше». «Мое» и «наше» – ощущения до такой степени были новыми для меланхоликов и до такой степени оказались кстати как для души барина, так и для души и для желудка мужика, что аппетит к «моему» и «нашему» стал возрастать не по дням, а по часам – и у барина и у мужика».¹²

Однако ж, со стороны крестьян эти новые переживания особых практических последствий не имели. Эмбриональное сознание деревни дальше мечтаний «насчет лучшей жизни»

¹² Успенский Г. Избранные произведения. Московский рабочий, 1949, с. 238.

не двинулось. Мечтания эти «были неопределенны, вырастали под влиянием рассказов древних беззубых стариков о старине, наполнялись нравоучениями прохожего богомольца, беглого солдата» и уносили мысли крестьянина «высоко-высоко и далеко-далеко от крестьянской избы»¹³.

Между тем распоясовский барин, точнее, его управляющий, оказался куда шустрее, вознамерившись переселить крестьян куда-то в другое место, где им все подстать и «еще лучше прежнего». Социальная недоразвитость крестьян, все то же их полусонное самосознание, вовсе не готовое оперировать новыми реальностями, «железная сила незнания», как пишет Г. Успенский, «бессилие разорвать паутину» государственной бюрократии – все это привело к тому, что бедных распоясовцев повергли выселению. «Через три недели Распоясово представляло такой вид: груды содранной с крыш соломы валялись на тех местах, где прежде были дома, амбары, сараи; от домов остались заваленки, от погребов – ямы, от сараев кое-где торчали столбы. И среди эти груд соломы без призора бродила скотина, тщетно взывая к какому-нибудь вниманию хозяина; в этой же соломе возились дети и спали родители, не раздеваясь и не переменяя белья и одежды с первого же дня разорения деревни... Хлеба они не сеяли и не собирали. На берегу реки кое-где виднелись вырытые в земле печи, по временам дымившиеся, около которых возились женщины»¹⁴.

Картины разорения деревень довольно привычны для нашей словесности. Как привычна и реакция крестьян на подобные государственные мероприятия: они тут же готовятся помирать и помирают, пока не окажутся под судом¹⁵. Но у Глеба Успенского крестьянин, подверженный государственной травме, а также травмированный «новыми временами и новыми заботами», начинает осознавать свою непроходимую социальную глупость и ничтожество. Однако это прозрение не делает его успешнее, не подталкивает его к поискам рационального выхода из положения. Напротив, распоясовец, почувствовав внутри себя «полный разгром, разврат», «стал пропивать все, что оставалось, стал воровать», ополчился с обвинениями на своего собрата. «Они, как собаки,

¹³ Там же.

¹⁴ Там же, с. 246-247. Эта картина возникла на совершенно документальной основе – в связи с переселением осенью 1874 г. крестьян села Переволоки Крапивенского уезда, Тульской губернии. Успенский был свидетелем разорения крестьянских хозяйств.

¹⁵ Любопытно, что в фильме А. Медведкина «Счастье» (1935), о котором нам еще предстоит говорить в следующей части наших писаний, символический крестьянин Хмырь, утратив всяческую хозяйственную опору в жизни, именно так и протестует: сооружает себе гроб. А государство преследует его за такое самовольство. Единственным спасением в случае с Хмырем оказывается победа Советской власти и колхоз.

грызли и вредили друг другу на новых местах...»¹⁶. Тут-то как раз и является порождение «новых времен» - купец с чековой книжкой и идеологией «человек-полтина», довершая разрушение девственного сознания распоясовца. Таков, вкратце, сюжет превращений деревни, описанный Г. Успенским.

Изображая подобные же картины и в других, более поздних своих очерках, Глеб Успенский задается существенными вопросами, актуальными, как представляется, и по сей день. Почему, например, миряне при общинном дележе леса ощупывают каждое дерево, но «не нащупали промежду себя брошенного на произвол судьбы сироты»? И почему, когда этот же брошенный мирянами сирота, совсем еще юный, занялся конокрадством, крестьяне оказываются невиновными, самосудом убив юношу, для которого «они не сделали ровно ничего, кроме карьеры вора и острожного жителя»?¹⁷ Почему «не внемлющая и не дающая ответа» народная масса поминутно выделяет из себя только хищников, кулаков, мироедов, возводящих... разграбление своего брата-крестьянина до степени промышленности...»? И так далее и тому подобное... Очевидно, делает вывод писатель, «тут есть, действительно, какая-то недоимка, только не в крестьянском кармане, и не в кассе контрольной палаты, а в народном уме, развитии и сознании»¹⁸.

Доискиваясь истоков такого «народного развития» на примере конкретных крестьянских персонажей, писатель говорит о том, что его всегда поражала бесплодность крестьянского труда, «бесплодность *по отношению к человеку*, к его слезам, радостям и к зубовному его скрежету. Именно в человеческом-то смысле, или, говоря точнее, в «расчете на человека» бесплодность неустанного труда оказывается поразительной»¹⁹. Как не вглядываешься в него, сетует Г. Успенский, решительно не видишь, чтобы «в глубине этого труда и в его конечном результате лежали мысль и забота о человеке в размерах достойных этого неустанного труда»²⁰. Эти сетования вполне, кажется, соответствуют тем настроениям, которыми пронизаны притчевые образы щедринской сказки о Коняге, поскольку, на взгляд писателя-народника, «хуже той обстановки, в которой находится труд крестьянина, представить себе нет возможности, и надобно думать, что тысячу лет тому назад были те же лапти, та же соха, та же тяга, что и теперь»²¹. Подобные

¹⁶ Там же, с. 247.

¹⁷ Там же. с. 339.

¹⁸ Там же. с. 342.

¹⁹ Там же, с. 353.

²⁰ Там же.

²¹ Там же, с.355.

трудовые отношения, как полагает автор очерков, культивируют в крестьянине полное равнодушие не только к общественным порядкам, не касающимся непосредственно хозяйства, но и тупое невнимание к людям, в конце концов, к духовному в самом себе.

Но как раз такой характер крестьянского труда, тут же опровергает отрицательность его картины Глеб Успенский, и составляет основу его поэзии, которую воспел в своем творчестве Алексей Кольцов. Суть дела в том, что тот самый изнурительный земледельческий труд, который кажется со стороны таким неподъемным и таким подавляющим крестьянскую личность, в действительности есть творчество, цель которого оно само. Наблюдения Г. Успенского за крестьянским трудом, по его признанию, показали, что «творчество в земледельческом труде, поэзия его, его многосторонность составляют для громадного большинства ... крестьянства жизненный интерес, источник работы мысли, источник взглядов на все окружающее его, источник едва ли не всех его отношений частных и общественных»²².

Положив в основание всей крестьянской жизни земледельческий труд, Г. Успенский попробовал вникнуть в его специфику подробнее. Эта попытка привела писателя к фундаментальному умозаключению, что, в конечном счете, всей жизнью крестьянина управляет власть природы, а еще точнее, *власть земли*. На этом фундаментальном тезисе Глеб Успенский строит все здание своей философии русского крестьянства, его прошлого, настоящего и будущего. Причем речь идет, как поясняет сам писатель, не о какой-нибудь «иносказательной», а о самой обыкновенной, натуральной земле. И «двухсотлетняя татарщина и трехсотлетнее крепостничество могли быть перенесены народом только благодаря тому, что и в татарщине и в крепостничестве он мог сохранить неприкосновенным свой земледельческий тип..., цельность своего земледельческого быта и, главное, *земледельческого мирозерцания...*»²³ И крестьянская община, как полагает Успенский, только потому устояла, что «членов ее соединяет *однородность* земледельческого труда, *однородность* надежд, планов. волнений, забот, *однородность* семейных и общественных обязанностей».²⁴ Словом, тайна народной психологии, народной нравственности заключается, по утверждению Успенского, в том, что «огромнейшая масса русского народа до тех пор и терпелива и могуча в несчастиях, до тех пор молода душою, мужественно сильна и детски-кротка..., покуда над

²² Там же, с. 369-370.

²³ Там же, с. 415-416.

²⁴ Там же, с. 416.

ним царит *власть земли*, покуда в самом корне его существования лежит *невозможность* послушания ее *повелений*, покуда они властвуют над его умом, совестью, покуда они наполняют все его существование..., наш народ до тех пор *будет* казаться таким, каков он есть, до тех пор будет обладать теми драгоценными качествами ума и сердца..., пока он весь с головы до ног и снаружи до самого нутра проникнут и освещен теплом и светом, веющими на него от матери сырой земли... Оторвите крестьянина от земли, от тех забот, которые она налагает на него, от тех интересов, которыми она волнует крестьянина, добейтесь, чтобы он забыл «крестьянство», - и нет этого народа, нет народного мирозерцания, нет тепла, которое идет от него. Остается один пустой аппарат пустого человеческого организма. Настает душевная пустота, «полная воля», т.е. неведомая пустая даль, безграничная пустая ширь, страшное «иди, куда хошь...»²⁵

Не стоит ли за этой философией разгадка характера русского работника, о которой так пекся Л. Толстой в «Анне Карениной»? Во всяком случае, Г. Успенскому близки, кажется, размышления Толстого о внутренней сути крестьянской натуры – близки именно в том смысле, что Успенский, как и Толстой, пытается отыскать первоосновы народной нравственности, той изначальной почвы, на которой стоит жизнь деревни. Но Успенский и сам отлично видит, что эти первоосновы он пытается отыскать и определить тогда, когда они уже стали едва ли не мифом. «Новые времена» расставили совершенно иные акценты в положении «земледельческого типа» крестьянина, оторвав его от той традиционной почвы, с которой Успенский связывает понятие «власти земли». Ход цивилизации как раз и располагает к тому, чтобы крестьянин «забыл» свое крестьянство. А это означает, что Успенский видит реальный «исход» крестьянского начала, крестьянского мировоззрения из национальной жизни, но при этом всеми силами хочет приостановить процесс, что, конечно, никак невозможно.

2.

Процесс расслоения крестьянского целого, который изображает русская литература конца XIX века, - процесс, без преувеличения, катастрофический, чреватый огромными жертвами, страшный в своей неуклонности, неостановимости. В то же время этот процесс характерен выделением из крестьянской массы индивидуальности, характерен формированием личностного

²⁵ Там же, с. 409-410.

самосознания частного человека как раз в крестьянской монолитной когда-то среде.

Рассуждая о феномене «власти земли», Глеб Успенский отмечает, что «мать сыра земля» настолько любит своего традиционного «Селяниновича», что забирает «его в руки без остатка, всего целиком, но зато *он и не отвечает* ни за что, ни за один свой шаг. Раз он делает так, как *велит* его хозяйка-земля, он ни за что не отвечает: он убил человека, который увел у него лошадь, и невиновен, потому что без лошади нельзя приступить к земле; у него перемерли все дети – он опять не виноват: не родила земля, нечем кормить было; он в гроб вогнал вот эту свою жену – и невиновен: дура, не понимает в хозяйстве, ленива, через нее стало дело... Словом, если только он слушает того, что велит ему земля, он ни в чем не виновен... Ни за что *не отвечая* ничего сам *не придумывая*, человек живет только *слушаясь*, и это ежеминутное, ежесекундное послушание, превращенное в ежеминутный труд, и образует *жизнь...*»²⁶ Эта естественная безответственность *природного* существа, почти животного, аукается и анонимной безответственностью в общественной жизни человеческой индивидуальности, что является одной из сущностных черт крестьянского менталитета даже в исторически более поздние времена становления земледельческого типа.

Существует представление о специфической религиозности русского крестьянина как выражении его нравственного, духовного здоровья. Об этой едва ли не подсознательной, органической религиозности народа часто говорит Ф.М. Достоевский, к подобной же трактовке, но с особым креном склонен и Л.Н. Толстой. Однако и в своей религиозности крестьянин отнюдь не тяготеет к личностной ответственности перед Богом, что, собственно, и составляет существенную черту монотеизма. Он, скорее, язычник в своей вере, нежели монотеист. Такой, во всяком случае, предстает религиозность крестьянина в русской классике последних десятилетий XIX века.

Жизнь крестьянина, какой ее изображает Г. Успенский, как, впрочем, и Л. Толстой в «Анне Карениной», вписана в природный цикл и накрепко связана с земледельческим календарем, истоки которого уходят в дохристианские времена и связаны с обрядово-мифологическим мировосприятием народа. В план земледельческого календаря переводятся крестьянином и христианские святые и чудотворцы, оказываются на границе с языческими представлениями. Само Священное Писание,

²⁶ Там же, 413.

кажется, для того и написано, говорит Успенский, чтобы доказать крестьянам, что «приидет царь (такой-то) и даст землю». Туманный текст «Апокалипсиса», в толкованиях деревенских грамотеев, получает неожиданно совершенно ясный смысл, потому что все оказывается написанным насчет того, что земли будет вволю.

В самой крестьянской массе нет индивидуально-личностного восприятия и переживания святого Слова. Оно как бы повисает над крестьянам и в виде облака, исходящего из грамотного человека, который часто и сам не вполне постигает смысл произносимого. Таково, например, восприятие и переживание святых книг Ольгой Чикильдеевой из чеховских «Мужиков». Она воспринимает Писание сердцем, что существенно отличает ее от других членов семейства. «Она каждый день читала Евангелие, читала вслух, по-дьяковски, и многого не понимала, но святые слова трогали ее до слез, и такие слова, как «аще» и «дондеже», она произносила со сладким замиранием сердца. Она верила в Бога, в Божью мать, в угодников; верила, что нельзя обижать никого на свете – ни простых людей, ни немцев, ни цыган, ни евреев, и что горе даже тем, кто не жалеет животных; верила, что так написано в святых книгах, и потому, когда она произносила слова из Писания, даже непонятные, то лицо у нее становилось жалостливым, умиленным и светлым»²⁷.

Там, где в низовой среде пробуждается феномен личностного восприятия, слово, в том числе и религиозное, тоже, как видно, преломляется неадекватно. В Ольге, какой она предстает в повести Чехова, легко увидеть то «бессознательное» религиозное «знание», о котором писал Достоевский в своих «Дневниках» как о доминанте народного самосознания. Однако симптоматично, что Ольга вполне *чуждая* в крестьянской семье Чикильдеевых. Она и покидает ее, как бы обозначая скорый распад этого мира, и становится профессиональной странницей. Мир же деревни остается вымирать в пространстве и времени своего пребывания.

Автор повести сочувственно ироничен в описании религиозности своей героини. Чехов говорит: «Она верила!», - будто сомневаясь в реальной фактической обоснованности веры в том мире, где никто не склонен ни жалеть ближнего, ни умиляться им. В деревне, пишет Чехов, никто всерьез не верил в Бога, не понимал его. При этом неверующие крестьяне «любили Священное писание, любили нежно, благоговейно, но не было книг, некому было читать и объяснять». Тут-то Ольга и пришлась ко двору. Она стала для крестьян, как в своеобразном языческом обряде,

²⁷ Чехов А. П. Собр. соч.

инобытием Святого Духа, вызывая в них особое уважение, отчего ее вместе с дочерью величали на «Вы».

Но благоговейная любовь к Писанию, в исполнении Ольги, может быть, и пробуждает сознание отдельных представителей крестьянского мира, но не обещает, похоже, сохранения и возрождения его целостности. Ольга сама покидает этот мир уже другой, на ней лежит печать «мужицкого» мира: вместо прежней миловидной и приятной улыбки, на лице у нее покорное, печальное выражение пережитой скорби, а во взгляде появилось что-то тупое и неподвижное, точно она ничего не слышала.

... Отпрыск провинциального среднепоместного дворянского рода Никанор Затрапезный, повествователь щедринской «Пошехонской старины» (1887-1889), делится воспоминаниями о религиозности того круга, в котором он рос и воспитывался. Он говорит о «машинальности религиозных обрядов» и в среде сравнительно образованных людей, поместное существование которых выглядело как «смесь алчности, лжи, произвола и бессмысленной жестокости, с одной стороны, и придавленности, доведенной до поругания человеческого образа, - с другой»²⁸. В рассказе Повествователя возникает фигура провинциального священника, озабоченного исключительно материальной стороной своего существования, сетующего по этому поводу, хотя жизнь его нельзя считать малообеспеченной. В рутинной повседневности, которой он живет, никак не проявляет себя собственно духовная сторона деятельности священнослужителя. О своем религиозном воспитании Никанор Затрапезный говорит так: «Я знал очень много молитв, отчетливо произносил их в урочные часы, молился и стоя, и на коленях, но не чувствовал себя ни умиленным, ни умиротворенным. Я поступал в этом случае, как поступали все в нашем доме, то есть совершал известный обряд. Все в доме усердно молились, но главное значение молитвы полагалось не в сердечном просветлении, а в тех вещественных результатах, которые она, по общему корыстному убеждению, приносила за собой...»²⁹

Настоящий путь Никанора к вере пролегал в далеком от приходской церкви и исполнения ее обрядов русле, вне «общей неизменности жизненного строя, который весь сосредотачивался около запросов утробы». Причины того, что религиозность как дворянского сословия, так и крестьян выродилась в чисто внешнее исполнение ритуала, Щедрин видит в обездуховленности жизни усадьбы, подчиненной исключительно «запросам утробы»

²⁸ Щедрин Н. (М.Е. Салтыков). ПСС, т. ХУ11. Ленинград, 1934, с. 87.

²⁹ Там же, с. 96-97.

и живущей, кстати говоря, в большинстве случаев едва ли не натуральным хозяйством, то есть подчиняясь в главном все той же «власти земли». Но под этой властью и усадьба, и , может даже в большей степени, деревня существуют в вечном страхе перед обнищанием, разорением. Так что индивид, в сердце которого Писание вдруг посеяло «зачатки общечеловеческой совести и вызвало из недр... существа нечто устойчивое, *свое*»³⁰, неизбежно должен был выпасть из этого коловращения, из этой борьбы за существование, предусмотренной «властью земли». Такой индивид должен был выпасть и из ритма механической религиозной обрядовости, будто бы спасающей от разорения и обнищания, а на самом деле делающей привычно укорененной античеловечность усадебной (да и деревенской) жизни, которая , подкрепленная церковной ритуальностью, воспринимается уже как норма.

Вот почему всякий индивид, в том числе и крепостной, всерьез, изнутри души обратившийся к религии, лично переживающий чудо своей веры в этой среде становится изгоем, подвергается преследованию, остракизму. Причем, чаще всего это не крестьянин, в собственном смысле, то есть не человек, занятый сельскохозяйственным трудом, земледелием и т.п., поскольку в этой области деятельности, действительно, нет условий для рефлексий. Это, как правило, дворовый человек – и такого рода примеры один на другой наслаиваются в повествовании Никанора Затрапезного, когда он начинает характеризовать «крепостную массу».

Такой «отщепившийся», выпавший из круга усадебно-деревенского бытия в обоснование своего индивидуального религиозного пути склонен, как правило, к сугубой жертвенности. Он теперь и наличное свое существование понимает как жертву покорности невыносимой, по нормальным человеческим меркам, жизни, но с надеждой на грядущее воздаяние от Бога. Ярко эта тенденция проявляется в образе дворового Сатира-скитальца, сам внешний вид которого выразительно свидетельствует о «призванности». Это «высокий и худой мужчина лет тридцати, до такой степени бледный, что, казалось, ему целый месяц каждый день сряду кровь пускали». На нем черный демикотоновый балахон, спускающийся ниже колен и напоминающий покроем поповский подрясник, туфли на босу ногу. Ни к какой работе он не приспособлен, а пристрастился к чтению божественных книг. «Глубокая задумчивость охватывала все его существо, сердце рвалось и тосковало, хотя он и сам не мог определенно объяснить, куда и об чем... вообще выказывал признаки идеальной странности,

³⁰ Там же, с. 97.

совершенно несвойственной той среде, которая его произвела...»³¹

Мы должны быть благодарны отечественной литературной классике, в силу своей специфики сумевшей уже в середине XIX века заметить процесс социально-психологического расслоения внешне монолитной крестьянской массы, тенденцию к личностному самоопределению «низового» человека в среде, по словам Щедрина, совершенно неприспособленной к такого рода явлениям. Литература схватывает это явление в момент его зарождения, поэтому персонаж такого типа – человек, прямо не связанный с внутренне регламентированной природой сутью земледельческого труда, часто это дворовый человек, но в нем начинает проявлять себя магистральная тенденция превращения русского крестьянства, обострившаяся к началу XX ст.

В Сатире-скитальце окружающие видели, естественно, человека «блаженного». И он, как бы подтверждая это представление о нем, с двадцати лет стал «бегать» за подаванием на строительство церкви. Но такое поведение, казалось бы угодное Богу, вызывает тем не менее, как и в других случаях с выбивающимися из ряда вон, раздражение госпожи, крутые меры по водворению «выбившегося» на место: «А ты господам хорошо служи – вот и Богу этим послужишь. Бог-то, ты думаешь, примет твою службу, коли ты о господах не радеешь?». Склонность Сатира-скитальца «бегать» есть доминирующая черта всякого «отщепеншегося» от общей крестьянской массы персонажа отечественной литературы XIX века и одновременно есть примета распадающегося усадебно-деревенского мира. У М. Салтыкова-Щедрина едва ли не все персонажи «Пошехонской старины», выделяющиеся из «крепостной массы», перестающие быть «массой», так или иначе – *скитальцы*. Все они – на пути от общинно-коллективной механистичной сколоченности к частно-индивидуальному, в конечном итоге, личностному самоопределению. В какой-то период это чаще всего «съехавшие с корней» дворовые. Но для русской прозы XIX века такой скитающийся дворовой есть проект всеобщего отщепенчества в крестьянской среде в недалеком будущем, включая и тех, кто в корне повязан «властью земли».

Что же касается общей массы крестьянства, мирознание которой, не перестает определяться ввевшейся в кровь и плоть «властью земли» с поправкой на «новые времена и новые заботы», то ее поведение весьма характерно представлено в очерках

³¹ Там же, с. 323,324.

Н.Г. Гарина-Михайловского «Несколько лет в деревне» (1892), особенно с точки зрения того, какая роль отводится высшим силам в практике повседневного хозяйственного бытия деревенского жителя.

Известно, что очерки были написаны на автобиографической основе человеком, предпринявшим с 1883 по 1886 гг попытку организовать «рациональное» хозяйство в своем имении в Самарской губернии, что в итоге обернулось неудачей. В кратком предуведомлении неудавшийся помещик-экспериментатор сообщает, что рассказать о своем отрицательном опыте его понудило желание выяснить, следует ли продолжать такого рода эксперименты. Из заключительных страниц произведения явствует, что каким горьким не было разочарование Гарина в своем предприятии, он тем не менее, как истинный народолюбец, возлагает всю вину за его неудачу на себя, так и не сумевшего проникнуть глубоко и серьезно в психологию своих подопечных – крестьян уже пореформенной эпохи. Здесь, кажется, вновь дает о себе знать «комплекс» Льва Толстого, ставящего во главу хозяйственных поисков своего героя Константина Лёвина постижение «характера рабочего», то есть все того же крестьянина.

О том, каким образом землевладелец-неофит собирался достичь цели, сообщается следующее, например: «... в деревне в особенности, в делах людских резко бросается в глаза неразумное приложение сил в борьбе за существование. У людей под